

ДОСТОЕВСКИЙ В ВОСПРИЯТИИ БУНИНА

И.А.Бунин, как известно, не любил Достоевского — и сказать так — значит сказать еще очень и очень мягко.

Однако в «Окаянных днях» обращают на себя внимание следы увлеченного чтения Достоевского и выписки, необходимые Бунину для подкрепления своих горьких и страстных слов. В исследовании Л.Сараскиной «„Бесы“ — роман-предупреждение» (М., 1990) указан ряд как явных, так и возможных параллелей между романом Достоевского и бунинской книгой, сопоставлены сходные мотивы. Здесь же хотелось бы прежде всего остановиться на случаях прямого цитирования Буниным «Бесов» и «Дневника писателя», позволяющих увидеть определенную мировоззренческую общность этих писателей отнюдь не менее отчетливо, чем в различных допущениях и экстраполяциях. (А при нашем теперешнем умении и, главное, желании сопрягать, соотносить все с чем угодно допущения эти уже нередко столь же ассоциативно безбрежны, сколь и бездоказательны.) Когда видишь, что именно цитирует Бунин из Достоевского и в каком контексте, невольно задумываешься: так ли уж необходимы тут еще чьи-то разъяснения — ведь к сказанному обоими писателями о революции, социализме, атеизме добавить сегодня по сути нечего — и в сравнении с этим наши собственные возможности выражения даже похожих мыслей должны невольно представляться по меньшей мере весьма скромными.

Все вышеизложенное самым непосредственным образом относится и к антикоммунизму Достоевского и Бунина. Именно так, к антикоммунизму, который вовсе не «коммунизм наизнанку» и не «бесы против бесов», как думает Ю.Карякин (Неделя. 1991. № 23). В соответствии со значением греческого «анти» — это всего только против-коммунизм, а не «главное оружие империализма — оголтелый антикоммунизм», по сакраментальной терминологии марксистско-ленинской философии. У Достоевского против бесов — не бесы, а Бог. И какая же «оголтелость» или «империализм» в этих его словах: «Христианин... говорит: „Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем“. А коммунар говорит: „Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить“».¹

Бунин показал уже саму, так сказать, практику этой коммунарской веры, прекрасно понятой в свое время Достоевским. «„Освободительное движение“, — пишет он в «Окаянных днях», — творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом... И все „надевали лавровые венки на вшивые головы“, по выражению Достоевского».² Последние слова принадлежат в «Бесах» Степану Трофимовичу Верховенскому, выступившему, как с улыбкой замечает в романе рассказчик, с рядом «замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности» (т. 10, с. 31). Выступление шло, как всегда, не без театрального самобичевания («мы надевали»). И ирония самого Достоевского по поводу либерального спича своего

героя очевидна. Но Бунину нужен буквальный смысл этих слов. То, что у Достоевского было плодом художественного воображения, для Бунина после произошедшей революции — уже реальность, одна из причин катастрофы: «...все „надевали...“».

Степан Трофимович говорит: «Мы... слишком поспешили с нашими мужичками... мы их ввели в моду, и целый отряд литературы... носился с ними как с новооткрытою драгоценностью» (т. 10, с. 31). А Бунин пишет: «Кадили мужику, благо он темен и „шаток“» (с. 132). Слова героя Достоевского, несмотря на их некоторую правоту, для автора нередко только слова, пусть искренняя в каждую минуту, но игра и поза. У Бунина же это глубокое личное убеждение, связанное с трагедией его собственной жизни. Рядом с замечанием о кадении мужику он говорит: «„Вшивые головы“ нужны были как пушечное мясо... Революция есть только кровавая игра в перемену местами...» (с. 132). И вспоминается теперь уже слишком известное пророчество Достоевского о миллионах голов, в которые обойдется революционное переустройство общества.

Что еще выписывает Бунин у Достоевского в «Окаянных днях»? А вот: «...дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено» (т. 21, с. 132—133). И Бунин добавляет: «Теперь эти строки кажутся уже слабыми» (с. 147). Он пропустил в них слова «современным высшим» (учителям), под которыми имелись в виду Дж.Милль, Ч.Дарвин, Д.Штраус, в чьих научных воззрениях, настаивал Достоевский, начисто игнорируется нравственная сторона исследуемой ими проблематики. «Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов», — пишет он в этом месте «Дневника писателя» (т. 21, с. 133). А Бунин за две недели до выписки из Достоевского привел цитату из газеты «Одесский коммунист»: «Слюни такого замечательного волшебника, как Иисус Христос... Многие, однако... продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения...» (с. 140).

Бунин прекрасно видит, к чему направлены подобные «разоблачения» Христа: «русский бунт» с его «жаждой разрушения». И здесь невольно приходит на память рассказ Достоевского о крестьянском парне, вызвавшемся «дерзостно» стрелять из ружья в причастие, которое, по вере, есть как бы частица тела Христова.

Среди размышлений Бунина о какой-то роковой обреченности России темной стихии революции есть указания на губительную роль преступающей все и вся уголовной вольницы. Но есть и суждения о разрушительных импульсах со стороны, прямо противоположной народным низам. Приведя строки из песни об «Утесе-великане» и «Степане», Бунин свободно, возможно по памяти, цитирует Достоевского: «Была самая невинная, милая либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма...» А дальше, имея в виду уже революционный марксизм, Бунин пишет: «Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал». И после цитат из С.Соловьева и Н.Костомарова об иррациональности народной смуты и бунтов заключает: «Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого!» (с. 133, 134).

Можно по-разному относиться к последнему замечанию Бунина. Но что «все это» отлично знал и учитывал подпольный руководитель «бесов» у Достоевского — Петр Верховенский, — ясно всем читателям романа. Знал он, конечно же, цену и «Степана», и Федьки Каторжного, убивающего для Верховенского уже в буквальном смысле по договорной плате.

«Матерый волк контрреволюции», как называли Бунина после его эмиграции в советских газетах, он безошибочно чувствовал антиреволюционность в нравственной и социально-философской позиции Достоевского. И это тем более важно, что природа художественного дарования у этих писателей совершенно различна. Оттого их совпадения в мировоззренческом плане подтверждают правоту обоих, возможно, в большей степени, чем это могло быть у художников типологически более близких.

Обращение Бунина в своей самой горькой книге к «нелюбимому» Достоевскому — урок и современным исследователям великого романиста, сокращающим (пусть и гипотетически) дистанцию между Достоевским и идеями революции и социализма.

С подчеркнутой многозначительностью, хотя и с чужих слов, пишут в нашем литературоведении о намерении Достоевского сделать в новом романе Алешу Карамазова революционером, политическим преступником. В критике уже аргументированно оспорена версия будущего «революционного» Алеши, настойчиво предлагаемая в получившей большой резонанс книге И. Волгина о последнем годе жизни писателя.³

Хотелось бы обратить внимание только на одно обстоятельство. За основное доказательство такого намерения Достоевского берутся слова из дневника А.С. Суворина. Между тем они могут показаться и не такими уж авторитетными после опубликованных текстов Бунина («Гегель, фрак, метель»), где приведен весьма своеобразный, скажем так, письменный пересказ Сувориным «Анны Карениной»: «Вронский... заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь граф Толстой даровитый писатель...» (с. 327—328) и т.п. Пересказывая же слова Достоевского, Суворин говорит: «Он (Алеша. — А.С.) искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...».⁴ Это «естественно», повторяемое и нашим исследователем, совершенно неестественно для Достоевского и, скорее всего, принадлежит самому Суворину. Во всяком случае трудно поверить, что правдоискатель, по Достоевскому, это в итоге обязательно революционер. Конечно, искусство — не точные науки, и поле для самых различных гипотез остается по-прежнему очень широким. Но тут уж, «естественно», каждому свое.

Примечательна и статья К.Смирнова в «Известиях» (1991. 9 февр.) «Что на весах. Читая „Бесов“ и Пушкинскую речь Достоевского через 110 лет после его смерти». Тут объясняется, «почему история и великий народ в истории пошли... не за гениальными проповедями Достоевского и Льва Толстого, а за логикой Ленина». Потому, говорится в статье, что «большевики... оказались силой, удержавшей — самыми жестокими мерами — общество... на краю пропасти». Автор «Бесов» не дожил до тех дней, но у Бунина эта сила спасительного удержания «самыми жестокими мерами» была перед глазами: «Купил книгу о большевиках... Страшная галерея каторжников!» (с. 89) — и последнее слово обозначает у него не жертв репрессий, а преступников. Нет, не случайно обращался он в «Окаянных днях» к Достоевскому. И не случайно некоторые из его слов казались Бунину «уже слабыми».

Так что «Окаянные дни» — это и пример того, как возвращающаяся ныне литература справедливо оттесняет, а то и зачеркивает некоторые интерпретации русской классики на ее родине, где, заверяя в любви к этой классике, порой искажают ее суть сообразно с идеологическими догмами.

Теперь же, отметив идеологическое сближение с Достоевским в «Окаянных днях», скажем и о другом: впоследствии, в продолжение всей своей жизни, Бунин так яростно даже не критиковал, а предавал анафеме искусство прозы Достоевского, что это выглядит чем-то совершенно беспрецедентным само по

себе в истории литературы. И дело тут, кажется, не только во всегдашней и понятной субъективности одного художника по отношению к другому.

Среди всего написанного о резком неприятии Буниным Достоевского, пожалуй, наиболее красноречива одна сцена из «Грасского дневника» Г. Кузнецовой. Трудно удержаться, чтобы не привести ее если не целиком, то как можно полнее — по своему накалу она может напомнить атмосферу знаменитых «конклавов» самого Достоевского, вызвав невольную улыбку некоторым совпадением происходившего в доме Бунина с тем, что возмущало его у великого романиста. «И.А. (Бунин. — А.С.), который взялся перечитывать «Бесов», сказал: — ... подошел с полной готовностью в душе: ну, как же, мол, это, весь свет восхищается, а я чего-то, очевидно, не доглядел... Ну вот, дошел до половины, и опять то же самое! Чувствую, что меня дурачат, считают дураком... Бесконечные разговоры, и каждую минуту „все в ожидании“, и все между собой знакомы, и вечно все собираются в одном месте, и вечно одна и та же героиня... Нет, плохо! раздражает!

— Что же ты хочешь сказать? — спросила В.Н. (Муромцева-Бунина. — А.С.).

— Хочу сказать, что, очевидно, ошибаюсь не я, а „мир“, что мы имеем дело со случаем всеобщего массового гипноза. Но не только не смеют сказать, что король голый, но даже и себе не смеют сознаться в этом...

—...Вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель? — закричал Зуров.

— Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель. И вы лучше послушайте меня. Я в этом деле кое-что понимаю...

Зуров вскакивает и начинает возмущенно опровергать. В.Н. говорит, что Достоевский объяснил ей многое и в самом И.А., и в жизни всего нашего дома. И.А. с необычайной силой стоит на своем и в доказательство приводит то, что сколько бы ни читал Достоевского, через год ничего не помнит. Поднимается ужасный шум». ⁵

Б. Бурсов в книге «Личность Достоевского» заметил, что неотделанность романов этого писателя, считающаяся следствием вечной спешки и других досадных обстоятельств работы, была особенностью стиля и самой его личности. Обстоятельства эти не столько возникали помимо воли Достоевского, сколько, пусть и неосознанно, создавались им же, чтобы уже некуда было отступать в сроках, и таким стрессовым образом аккумулировалась, а затем взрывалась нервная и творческая энергия. Мысль, не лишенная пронизательности. Но, по-видимому, она упреждена словами Бунина, который в том же споре о Достоевском, услышав о неотделанности его романов из-за торопливости, заявил: «А я утверждаю, что он иначе и не мог писать, и в свою меру отделявал так, что дальше уже нельзя... Вслушайтесь в то, что я говорю: все у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплетешь... Иначе он и не мог писать». ⁶

У Г. Кузнецовой есть замечание и о том, что восприятие Буниным Достоевского было гораздо сложнее, чем это могло показаться из его слов, и не всегда оставалось негативным. Это как будто подтверждается и его собственными суждениями. Достоевский, отмечал он, «до конца, с гениальностью понял» такого социального типа, как Шигалев в романе «Бесы». И еще: «Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, сякоть, дырявые калоши, лестницы с кошками, этот голодный Раскольников с горящими глазами и топором за пазухой, поднимающийся к старухе-процентщице... это удивительно». ⁷

Тем не менее вряд ли мы погрешим против истины, определяя в целом отношение Бунина к творчеству Достоевского как раздраженно-неприязненное. Свидетельств тому более чем достаточно и в его собственных дневниках, и в дневниках и письмах В.Н.Муромцевой-Буниной, в книге И. Одоевцевой «На

берегах Сены», а также у Г. Адамовича (сборник «Одиночество и свобода»), Ф. Степуна («Встречи») и пр.

В августе 1941 года Бунина в Грассе посетил Андре Жид и был разочарован: «Его преклонение перед Толстым коробит меня так же, как и его пренебрежение к Достоевскому, Щедрину, Сологубу».⁸

Резко отрицательное отношение к Достоевскому выражают порой и бунинские персонажи: в рассказе «Петлистые уши» мы слышим это от Соколовича, по всей видимости параноика, — персонажа, в симпатии к которому Бунина заподозрить совершенно невозможно, но который получает его явную поддержку, как только вспоминает «злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы».⁹

Против Достоевского у Бунина было два наиболее часто повторявшихся аргумента. Во-первых, однообразие композиционных приемов — «собрать всех вместе и скандал».¹⁰ А во-вторых — «ничего не помню». В.Н.Муромцева-Бунина писала, что ее муж «один не любил читать его (Достоевского. — А.С.)... А вслух маленькими порциями — проходило... Иван Алексеевич читал не так, как все. Прочтет немного, отложит книгу и думает, представляет, поэтому Толстой, Чехов были ему близки — все сразу видишь, а Достоевского так не представишь...»¹¹ В том же 1959 году, уже без непосредственной связи с Буниным и Достоевским, она сказала в одном из своих писем: «На творческих людей влияют больше жизненные явления, чем те или иные идеи».¹²

Бунин являл собой именно этот тип творческой личности, он не был художником персонифицируемых идей, его художественный мир — чувственный, осязаемый, зримый, и потому при выражении в слове в первую очередь пластический. Достоевский же свой воображаемый мир прежде всего слышал (простейшее доказательство — черновики, рабочие тетради, где, кроме психологических разработок характеров, сплошь диалоги, реплики, фрагменты монологов, т.е. «голоса») — вот почему этот мир прежде всего звучит.

«Ну, я прочел „Кроткую“, — сказал однажды Бунин. — И теперь ясно понял, почему я не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой — другое. Вот поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой дал бы какую-нибудь черту, одну, другую, — и Альпы выросли бы перед глазами».¹³

Достоевский раздражал Бунина в первую очередь потому, что он, как художник и читатель, его мира не видел. Когда же искренне старался рассмотреть, получалось совершенно не то, что привыкли видеть другие. Как он воспринимал «Бесов», уже говорилось выше. А вот его отзывы о «Братьях Карамазовых»: «Я и имя это — Алеша — из-за него возненавидел! (так зовут главного героя и в бунинской «Жизни Арсеньева». — А.С.). Никакого Алеши нет, как и Дмитрия, и Ивана, и Федора Карамазовых нет, а есть АВС...» (1931 год).¹⁴ «Перечитал первый том „Бр. Карамазовых“. Три четверти — совершенный лубок, балаган» (1942 год).¹⁵

Через две недели: «Прочел (перечитал, конечно) второй том „Бр. Карамазовых“. Удивительно умен, ловок — и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем скука, не трогает ничуть».¹⁶ А за два года до этого — с типичной своей интонацией резкой нетерпимости и раздражения: «Не знаю, кого больше ненавижу как человека — Гоголя или Достоевского».¹⁷

При чем тут Гоголь? А при том, что он, по убеждению Бунина, «никогда не жег „Мертвых душ“, которые не что иное, как „талантливый шарж и только“, а все остальное опять-таки „лубок“».¹⁸

Достоевского во многом не принимал и В.Набоков, если уж говорить о русских писателях первой эмиграции. Но он не был так негативно настроен в отношении Гоголя. Может быть, Бунина, в соответствии со складом его худо-

жественного мышления, вообще было чуждо искусство, где силен элемент условности и жизнь воссоздается в формах, не всегда адекватных самой жизни?

Да, когда писались «Окаянные дни», Достоевский несомненно был необходим Бунину — и именно, повторяем, в мировоззренческом, идеологическом плане. Но идеологические суждения того или иного художника не есть основа его творчества. (Дж. Джойс: «Когда вы пишете, вы должны руководствоваться тем, что у вас в крови, а не тем, что у вас в голове».¹⁹ Об этом, кстати, нередко забывают интерпретаторы Достоевского, в чьих работах мы видим его, пишущего как бы только идеями, в основном теми, которые интересуют самих интерпретаторов. А ведь Достоевский говорил: «Идеи меняются, сердце остается одно».)

Идеологические суждения художника связаны прежде всего с конкретно-историческими, социальными или общественными явлениями, их первопричины, так сказать, нередко «событийны», стало быть, преходящи. Само же творческое начало, художественное дарование — это все же нечто «имманентное».

Могут сказать, что как бы ни были против Достоевского Бунин и Набоков, литература XX века, в особенности проза, во многом пошла за Достоевским, воссоздавая дисгармоническую действительность и жизнь человеческого сознания в соответствующих, отнюдь не гармонических формах, в изломанных линиях и ритмах. Ведь именно Достоевский первым так глубоко исследовал, например, трагические парадоксы личности, которая не обязательно является синонимом чего-то этически-положительного, и ту духовность, которая в общеупотребительном, не религиозном значении — понятие не морально-оценочное, во всяком случае тоже далеко не всегда со знаком «плюс».

И все же совершенно очевидно, что способ художественного воссоздания дисгармонической действительности дисгармоническим же искусством — вовсе не единственно возможный. И Достоевский был и остается лишь одним из гениальных выразителей своего времени и человеческой сущности вообще. «Достоевский — но в меру» — в этих известных словах Т. Манна, полных почтения, но и трезвости, есть смысл, полезный сегодня и для нас. (Между прочим, сам Достоевский в письме Н. Озмидову в 1880 году на вопрос о рекомендуемом чтении для дочери своего корреспондента отвечал, что произведения Пушкина, Льва Толстого должны быть прочитаны все. «Гоголя тоже. Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю, чтобы все пригодились ей» — т.30, кн. 1, с. 212.)

Как говорил Л.Толстой, существует, кроме нашей или моей, еще и «другая жизнь». И есть, по аналогии с этим, жизнь «других» художественных миров. Вот о чем следует помнить тем из нас, кто чуть не всю жизнь проводит под сенью одного гения и невольно воспринимает все многообразие литературы, прошлой и нынешней, глядя из этого, уже освоенного, обжитого пространства. И если, как принято считать, на ошибках гения можно учиться не хуже, чем на его откровениях, то и в различных «отрицаниях» можно его увидеть как бы под дополнительным ракурсом, с неожиданной стороны. В случае с Буниным Достоевский не становится ниже, а Бунин — выше. Но наше представление о бесконечности непохожих художественных миров делается еще шире.

То же самое можно сказать и об «отрицании» Достоевского Набоковым. Но у нас еще как-то наивно побаиваются подобного рода «нетипичных» взглядов на гениев — и это при всем нынешнем широковещательном плюрализме. Например, «Литературная газета», публикуя лекцию Набокова «Федор Достоевский» (1990. 5 сент.), спешит успокоить, что это не столько портрет Достоевского, сколько автопортрет самого Набокова, и добавляет: «Что касается Достоевского, то он, конечно же, не нуждается в нашей защите». Но на всякий случай заверяет: «Его место в русской и мировой литературе прочно и незыблемо», как будто кто-то уже усомнился в этом.

Искусство безусловно не только резонирует от жизни. Часто оно остается искусством именно потому, что составляет с ней как бы своеобразный «контрапункт», противодвижение по своим способам отражения жизни. Достоевский стал наиболее современным для многих в XX веке. Но и абсолютно противоположный ему Бунин тоже остался современным нынешнему столетию (и кто знает, насколько он станет еще современнее в будущем, когда, например, придет новая пора интереса к его поэзии, что вовсе не исключено). И тут по самой близкой ассоциации возникает пример С. Рахманинова, музыка которого нужна сегодня так же, как и мир звуков А. Шёнберга. М. Алданов писал о Рахманинове: «Той органичности, которая была в нем, которая есть в Бунине, больше в России, боюсь, никогда не будет».²⁰ И чувствуется какая-то связь между этими словами Алданова и удивлением Рахманинова, спросившего однажды актера Михаила Чехова, кого тот больше любит, Достоевского или Толстого: «„Достоевского“. — Сергей Васильевич как-то вдруг взглянул на меня, не то с испугом, не то с сожалением, даже с болью: „Быть не может!“. Этот взгляд поразил меня. Но, перечтя „Войну и мир“ и „Анну Каренину“, я понял значение взгляда. Понял и в душе поблагодарил Сергея Васильевича».²¹

И все же не следует недооценивать очевидного: и Бунин и Набоков, отрицая эстетику Достоевского, оставались верны самому духу русской классики, в том числе и Достоевского, — духу утверждения свободы человеческой личности, — сохранив этот дух, пользуясь словами Набокова, и на «других берегах» своей судьбы.

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 2. С. 140. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

² Бунин Иван. Окаянные дни: Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 132. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

³ См., например: Степанян К. Давайте послушаем Достоевского // Вопросы литературы. 1988. № 5. С. 217—218.

⁴ Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 329.

⁵ Лит. наследство. 1973. Т. 84. Кн. 2. С. 274—275.

⁶ Там же. С. 275.

⁷ См.: Бабореко А. И.А. Бунин: Материалы для биографии. М., 1983. С. 317.

⁸ Лит. наследство. Т. 84. Кн. 2. С. 384.

⁹ Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. 4. С. 391.

¹⁰ Бунин И. Лишь слову жизнь дана... М., 1990. С. 354.

¹¹ Письма В.Н. Буниной / Публ. и комм. Н.П. Смирнова // Новый мир. 1969. № 3. С. 220.

¹² Там же. С. 218.

¹³ См.: Бабореко А. Указ. соч. С. 317.

¹⁴ Лит. наследство. Т. 84. Кн. 2. С. 278.

¹⁵ Бунин И. Лишь слову жизнь дана... С. 217.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. С. 161.

¹⁸ Там же. С. 160, 147.

¹⁹ Вопросы литературы. 1984. № 4. С. 205.

²⁰ Лит. обозрение. 1990. № 10. С. 67.

²¹ Воспоминания о Рахманинове. М., 1974. Т. 2. С. 297.